



КАТАРИНА БЁРД

A movie poster for the film 'Thousand Knives'. The scene is set in a snowy, medieval-style town at night. The streets are covered in snow and filled with hundreds of lit candles, creating a warm, golden glow. On the left, a woman with blonde hair, Katarina Berd, is dressed in a dark, fur-lined coat and boots. She is looking towards a man on the right. The man has dark hair and is wearing a long, dark, ornate robe with a fur collar. He is looking down at a small, glowing, golden orb of light that is floating between them. The background shows snow-covered rooftops and buildings with lit windows and balconies. The overall atmosphere is mysterious and romantic.

ТЫСЯЧА
НОЖЕЙ

Катарина Бёрд

Тысяча ножей

<https://litres.ru/74583754>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он убивал её тысячу раз. И каждый раз плакал.

Лада не помнит себя. Только имя, руки, умеющие возвращать жизнь, и сны — про снег, кровь и мужчину с синими глазами. Она воскрешает мёртвых, не зная, что с каждым возвращением забирает тепло у мира и теряет себя. Пока однажды в её дом не входит он — Карачун, дух зимы, погибель, тот, кого она должна ненавидеть.

Он забирает её в мёртвый город, где по улицам ходят тени. Тысячи теней. Каждая — одна из её прошлых жизней. Каждая — его память о той, кого он любил и кого убивал снова и снова.

Он говорит: чтобы разрушить проклятие, она должна вспомнить всё. Все жизни. Все смерти. Все тысячи раз, когда его нож чертил на горле линию.

Но правда не спасает. Правда — это замок, который нельзя открыть, не выпустив то, что заперто за ним.

Она помнит. Он ждёт. Проклятие рушится. А из леса уже тянет запахом пепла.

Содержание

Глава 1 Двенадцатая свеча	4
Г	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Катарина Бёрд

Тысяча ножей

Глава 1 Двенадцатая свеча

Лада стояла на коленях в огороде и копала голыми руками.

Земля промёрзла до каменной твёрдости, совсем не повесенному, но Лада упрямо скребла её пальцами, в надежде, что тепло ладоней растопит хотя бы корку. Пальцы у неё были длинные, тонкие, слишком нежные для крестьянской работы и вечно в земле: грязь забивалась под ногти, въедалась в трещинки кожи. Она вытирала руки о подол, но чистыми они не становились.

— Ну давай, милая, — бормотала она, обращаясь к грядке. — Я же не прошу много. Одну морковку. Хоть самую кривую. Я даже спорить не стану, что она кривая.

Земля молчала. Впрочем, с землёй разговаривать было проще, чем с людьми: она хотя бы не отворачивалась.

Чтобы не было так тихо, Лада напевала колыбельную, но одним мотивом, без слов. Слова она потеряла давно, а мотив остался и тянулся за ней, как нитка из старой ткани: потянешь, и ползёт, а где конец, не разобрать.

С рассвета поднялся ветер, сухой и колючий. Он трепал

её светлые, почти золотые, но потускневшие, как старая монета, волосы. Коса давно расплелась, и пряди липли к губам. Лада заправляла их за ухо, а ветер упрямо возвращал их на место. Казалось, он не желает, чтобы она смотрела на мир. Или чтобы мир смотрел на неё.

Она была высокая и худая, с бледной кожей, слишком бледной для живого человека. Не белой, а светящейся, словно под кожей горела свеча. Глаза у неё тоже были необычные: не серые и не карие, а зелёные, цвета мокрого мха или весенней травы под снегом. Одевалась она так же, как все: в латаное, серое, вытертое на локтях. От деревенских её отличала не одежда. Отличало то, как она стояла, как смотрела, как молчала. В ней было что-то чужое, чему не место в этих краях. Люди замечали это и обходили её стороной, не из злобы, а из страха. Слишком много весны было в ней для места, куда весна давно перестала приходить.

Она не помнила себя. От прошлого остались только имя, руки, которые умели возвращать жизнь, и сны про снег, про кровь, про мужчину с синими глазами. Иногда, примерно раз в месяц, сквозь вечную белизну ей снилась выжженная, чёрная, дымящаяся земля. От запаха пепла горело в груди, а из-под обугленной тверди к её ногам тянулись тонкие корявые корни. И ещё был ручей, живой, незамёрзший. Он журчал где-то рядом, всегда рядом. Лада слышала его, но ни разу не видела, и этот тёплый звук запоминала крепче всего остального. А вот сам сон забывала быстрее прочих: кто-то тороп-

ливо и грубо стирал его из памяти, как пятно со скатерти.

Она как раз пыталась подцепить ногтем особенно упрямый ком, когда в воздухе что-то оборвалось.

Тихо, почти нежно, будто лопнула невидимая струна. Земля под пальцами вдруг стала холоднее, хотя холоднее было уже некуда. Лада замерла и подняла голову.

— Нет, — сказала она вслух. — Ну нет, только не сегодня.

Она знала это чувство. Так бывает, когда где-то совсем рядом человек уходит из жизни и жизнь, не успев ещё как следует захлопнуть дверь, оставляет её приоткрытой. Лада вытерла руки о подол и встала. Крик матери, тонкий, как трещина во льду, донёсся до неё, когда она уже дошла до калитки.

Бежать она не стала. Знала: бегом или шагом, разницы нет. Важно было другое: сколько времени прошло. Сутки. Ровно столько у неё было на каждого. Пока день не сменился ночью, а ночь не сменилась новым днём, она ещё могла дотянуться до человека. Потом дверь захлопывалась намертво, и тянуть было не за что.

Она шла через деревню мимо покосившихся изб, мимо колодца, у которого две бабы с грохотом долбили ведром лёд. Бабы замолчали, стоило ей появиться. Лада сделала вид, что не слышит, как одна шепчет другой:

— К Жданиной пошла. Слышишь, воет?

— Слышу. Не к добру это, когда она приходит. После неё у нас печи стынут.

— Тише ты, дура, услышит!

— А пусть слышит. Что толку, что мёртвые встают, если живые замерзают?

Лада не обернулась. Печи у них стынут, подумала она. Топить надо лучше. На завалинке у крайней избы сидел старик и смотрел в пустоту.

— Доброго утра, дед Радим, — сказала она.

Старик не поднял глаз. Она и не ждала. В этой деревне давно разучились смотреть друг другу в лицо.

* * *

Вдова сидела на полу с мальчиком на руках и раскачивалась взад-вперёд, как маятник, пытаясь укачать сына обратно в жизнь. Лада вошла без стука. В избе стоял такой холод, будто печь не топили неделю, хотя дров у Жданы хватало.

— Он холодный, — сказала вдова. Голос её звучал ровно, слишком ровно. — Он уже холодный. Я на минуту отвернулась, Лада. За водой. Только за водой. Прихожу, а он...

— Когда это случилось?

— На рассвете. Ещё темно было.

Лада шумно выдохнула, и изо рта у неё вырвалось облачко пара.

— Тогда успею.

Ждана подняла на неё глаза. В них не было ничего, кроме пустоты, какая приходит, когда человек уже умер внутри, хотя тело ещё дышит.

— Ты Гордея не смогла, — сказала она. — В прошлом

месяце. Мы все видели.

— Гордей лежал двое суток, когда меня позвали. — Лада присела рядом. — Я говорила тогда и повторю сейчас: только пока день не кончился. Дальше там ничего нет, Ждана. Пустота. Я отдам всё, что у меня есть, а он всё равно не встанет.

— А если ты ошибёшься?

— Не ошибусь. — Лада коснулась щеки мальчика двумя пальцами и почувствовала то, что надеялась почувствовать: далеко-далеко, глубоко-глубоко, тлел крошечный уголёк. — Он ещё здесь. Как жар под золой. Ему просто некому подуть.

Мальчику было лет шесть: худенький, светловолосый, с ресницами, слишком длинными для его лица. Губы посинели, на щеке засохла слезинка. Лада вдруг подумала, что не знает его имени, хотя раньше, кажется, знала.

— Как его зовут? — спросила она.

— Мирошка, — ответила Ждана, и голос её дрогнул впервые.

— Хорошее имя. Отойди, Ждана.

Вдова не шевельнулась.

— Отойди, — повторила Лада мягче, но твёрдо. — И не смотри. Станет холодно, очень холодно. Печь не поможет. Так всегда бывает: это смерть выходит из дома. Не пугайся, она уйдёт.

— Знаю. Весь край видел, как это у нас бывает... — Ждана осеклась и отползла к стене. — Ты потом забудешь меня? Как забываешь всех?

Лада на секунду замерла.

— Я забываю не всех, — сказала она. — Только то, что не держится.

Это была почти правда, и говорить её было легче, чем настоящую.

Она взяла мальчика на руки. Он оказался лёгким, как пустой тулуп: из него вынули всё, что делало его человеком. Лада закрыла глаза. Она не знала, как это работает, и никто не знал. Это не было ни заклинанием, ни славлением, ни обрядом. Это было тепло. Где-то глубоко внутри, там, где обычно живёт страх, разгоралось что-то мягкое, негорячее, не причиняющее боли. Лада прижала Мирошку к груди и не дала угольку погаснуть.

Тепло потекло из неё в него, как вода сквозь песок, а вместе с ним уходило что-то ещё, чего она не могла вспомнить.

Стены закрипели. По окну, по потолочным балкам, по краю стола побежал иней, быстро и жадно, рисуя узоры, похожие на папоротник. Лампадка в красном углу дрогнула и задохнулась. Ждана прижала ладони ко рту, и между пальцами у неё вырвалось белое облачко. Изба съёжилась, будто из неё разом вынули что-то важное. Лада ничего этого не видела: глаза у неё были закрыты. Она чувствовала только, как внутри у неё становится всё холоднее, и думала, что так выходит смерть.

Мирошка судорожно вздохнул, вынырнув из глубины. Пальцы дёрнулись, губы порозовели, ресницы затрепетали.

Он открыл глаза, голубые и совсем растерянные.

— Мам? — прошептал он. — Я что, спал?

Ждана бросилась к нему. Она схватила сына, прижала к себе и наконец заплакала по-настоящему, навзрыд, с воем, раскачиваясь всё так же, как и прежде, только теперь в этом было счастье.

Лада попятилась. Ей вдруг стало очень слабо и очень легко, как бывает после долгой болезни. Мирошка выглянул из материнских рук, посмотрел на Ладу серьёзно, без всякого узнавания.

— Мам, а это кто? Тётя, которая светится?

— Никто, сынок, — глухо сказала Ждана, не поднимая головы. — Тётя мимо шла.

Лада улыбнулась. Улыбка вышла кривоватой, но настоящей.

— Мимо шла, — согласилась она. — Береги мать, Мирошка.

На пороге её догнал шёпот Жданы:

— Лада. Спасибо тебе. Я бы отдала тебе всё, что у меня есть. Только... — Вдова замаялась, глядя в стену, по которой ещё ползли ледяные цветы. — У нас уже нечего греть. Ты не сердись. Не приходи больше, если сможешь.

Лада кивнула, хотя ни разу в жизни не знала, сможет ли.

На крыльце шёл снег, крупный, медленный, ленивый. Такой бывает в конце зимы, когда весне давно пора прийти, а она всё медлит. Лада подняла лицо к небу и по привычке

потянулась за мотивом, за той ниткой, которая весь день тянулась у неё в голове.

Нитки не было.

Она искала ещё. Прислушалась. Забормотала себе под нос первые ноты, и они рассыпались, не складываясь. Колыбельная ушла. Совсем. Даже мотив, единственное, что от неё оставалось.

— Ну вот, — тихо сказала Лада снегу. — Значит, вот что на этот раз.

И пошла домой.

* * *

Дом стоял на отшибе, у самого леса: маленькая изба, вросшая в землю по самые окна. Внутри были печь, стол, лавка, оберег в углу (откуда он взялся, Лада не помнила) и свечи. Двенадцать свечей стояли на полке вдоль стены ровным строем, как солдаты: тонкие, оплывшие, с чёрным нагаром. Лада никогда их не зажигала, но они горели сами. Всегда.

Что это значит, она не знала. Она вообще мало что знала о себе. Помнила, что её зовут Лада, что ей девятнадцать, что она умеет возвращать жизнь и что каждое возвращение что-то у неё забирает. Что именно, она не понимала. Просто иногда по утрам обнаруживала пропажу какой-нибудь мелочи: имени соседки, цвета своей первой рубашки, слов колыбельной. Мать... Лада не помнила и матери, только лицо, смутное, будто в тумане, и голос. Но голос она вполне могла придумать.

Она села на лавку, сняла сапоги, растёрла заочеченные пальцы. Свечи горели послушно, как всегда, и Лада усталилась на них с упрёком.

— Опять вы. Я вас хоть раз зажигала? Нет. Хоть раз просила? Тоже нет. А горите, будто я вам должна.

Свечи потрескивали. Пламя подрагивало, как от смеха.

— Смейтесь, смейтесь, — вздохнула она. — Мне вот сегодня и посмеяться не над чем: мотив потеряла.

Она смотрела на них каждый вечер, но ни разу за всё время, что жила здесь, не прикоснулась. Боялась, сама не зная чего. Может быть, что свечи обожгут. Или заберут что-то, с чем она ещё не готова расстаться. Лада закрыла глаза и сама не заметила, как провалилась в сон.

Снег. Много снега. Белое, бесконечное, мёртвое поле: ни деревьев, ни домов, ни людей. Только снег и низкое, тяжёлое, серое небо.

Она лежит на снегу, и ей холодно. Но это не зимний холод, а другой: он живёт внутри, и кажется, что сама она превратилась в лёд.

Где-то рядом журчит живой, незамёрзший ручей. Тихо и ровно, в такт сердцу. Она не видит его, но слышит, и от этого звука становится тепло, даже в снегу, даже во льду.

А под снегом, глубоко внизу, земля вовсе не мёрзлая. Она обугленная, чёрная, сгоревшая дотла задолго до того, как выпал первый снег. Сквозь белый саван проглядывают трещины, чёрные, как вены на обожжённой коже, и из них тя-

нутся тонкие корявые корни. Они ползут к её ногам, рукам, лицу, медленно и уверенно: знают, что ей некуда деться.

Рядом стоит мужчина, высокий и тёмный. Лица она не видит, только силуэт: чёрные волосы, длинный плащ, руки, опущенные вдоль тела. Он смотрит на неё, и этот взгляд давит на грудь тяжестью камня. В его руке нож.

Лада хочет закричать, но не может. Хочет убежать, но тело не слушается. Ей остаётся лежать и смотреть, как он опускается рядом с ней на колени.

— Прости, — говорит он низким, глухим, надтреснутым голосом. — Прости.

Он повторяет это слово снова и снова, как молитву, как заклинание, надеясь, что оно хоть что-то изменит. Но нож уже касается её горла. Она чувствует холод стали, а следом тепло, своё собственное тепло, которое вытекает из неё на снег. Красное на белом.

Она смотрит в его глаза, синие, как лёд, как небо перед бурей. В них стоят слёзы. Он плачет. Он убивает её и плачет.

— Я люблю тебя, — говорит он. — Я всегда тебя любил. Прости.

Лада хочет сказать что-то важное, что-то, способное всё изменить, но не может. Горло сдавлено, изо рта идёт одна только кровь. Снег падает на лицо и тает на щеках, точно слёзы. Небо плачет вместе с ним.

Последнее, что она видит, — его лицо. Красивое, страш-

ное, знакомое.

Она знает его. Не помнит, но знает. Любит.

Лада проснулась оттого, что не могла дышать. Она по-прежнему сидела на лавке. Все двенадцать свечей горели ярче обычного, пламя дрожало, по стенам метались тени, живые, как люди. Лада схватилась за горло. Оно было целым: ни ножа, ни крови, только пот на спине и слёзы на щеках.

— Мать сыра земля, — прошептала она.

Она встала, подошла к бочке, зачерпнула ковшом воды и выпила залпом. Вода была ледяной, зубы заныли, но это пошло на пользу: холод возвращал в явь. Лада посмотрела на свечи. Двенадцать. Она всегда знала, сколько их, но только теперь, почему-то именно теперь, задумалась: почему двенадцать? Что означает это число? И никогда прежде свечи не горели так ярко. Они чего-то ждали и знали что-то, чего не знала она.

— Вы ведь что-то знаете, — сказала Лада. — Ну так скажите.

Свечи не ответили. Они просто горели.

Она подошла к полке, протянула руку и коснулась первой. И тут же отдёргнула пальцы. Свеча была не восковая, а ледяная: холодная, гладкая, прозрачная, точно кусок льда, которому придали форму свечи. А глубоко внутри что-то виднелось. Тень. Силуэт. Казалось, в каждой свече застыл человек.

Лада отшатнулась и налетела спиной на лавку.

— Что это? — прошептала она. — Что это такое?

Свечи молчали. Огонь в них колыхался заставляя тени танцевать, словно внутри ледяных тел билось чьё-то далёкое сердце.

* * *

Наутро деревня начала замерзать, и совсем не так, как обычно: не постепенно, не по-человечески. За ночь вода в колодце промерзла до дна, стала как единый камень. Птицы падали с неба замертво, прямо в снег. Деревья трещали от мороза, хотя до весны оставалась неделя.

Лада вышла на улицу и остановилась. Стояла тишина, слишком глубокая: ни собачьего лая, ни петушиных криков, ни скрипа ворот. Только снег и безмолвие. Она пошла через деревню. Люди стояли у домов, кутались в рваные тулупы, прятали руки в рукава и молча смотрели на небо, словно чего-то ждали. В окне Жданиной избы мелькнуло бледное лицо. Ждана прижимала к себе Мирошку и смотрела на Ладу не с благодарностью, а с ужасом.

У колодца всё та же баба, что вчера судачила о ней, тюкала топором по льду. Топор отскакивал, оставляя белую царапину, и только.

— Помочь? — спросила Лада.

Баба вздрогнула так, что чуть не выронила топор.

— Сама справлюсь! — Она схватилась левой рукой за натальный оберег. — Не подходи. Не надо. Мы уж как-нибудь... сами.

— Я просто хотела...

— Знаю я, чего ты хотела! — Голос бабы сорвался на визг.
— Одному подарила, а у семерых отняла. Иди своей дорогой, ведьма! Чур меня, чур меня.

Лада хотела крикнуть: «Это не я!» Но не смогла. Потому что не знала.

Старик на завалинке поднял на неё глаза.

— Это ты, — сказал он.

— Что я? — Лада остановилась и нахмурилась.

— Ты его разбудила.

— Кого, дед Радим? О ком ты?

Старик не ответил. Он отвернулся и снова уставился в никуда, будто в жизни не произнёс ни слова. Лада простояла над ним минуту, потом плюнула на снег и пошла обратно, в лес, к своему дому.

Дом стоял на месте. Лада остановилась у калитки. Всё выглядело обычно: покосившийся забор, тёмные окна, снег на крыше. Но что-то было не так, и она не могла понять что. Дверь оказалась приоткрыта, не распахнута, а именно приоткрыта, на ширину ладони. Из щели тянуло холодом, не зимним, а другим. Мёртвым.

Лада подобрала у крыльца обломок полена, покрепче взялась за него обеими руками и толкнула дверь плечом.

Внутри было темно, темнее, чем должно быть. Все двенадцать свечей погасли, впервые за всё время. Они стояли на полке чёрные, оплывшие, мёртвые, словно кто-то прошёл мимо и задул их одну за другой, медленно, с удовольствием.

На полу виднелись следы, мокрые, тёмные, мужские, с чёткими отпечатками подошв. Они вели от двери к полке, к свечам, и обратно к двери, но за порог не выходили. Человек вошёл, постоял, посмотрел и остался.

Лада пошла по следам. Пальцы на полене побелели. Она коснулась первой свечи: ледяная. Второй: ледяная. Третьей. Все двенадцать, погасшие и мёртвые, хранили внутри тень, человека. Лада провела ладонью по нагару, по инею, осевшему на краю полки тонкой паутиной. И вдруг почувствовала это спиной, затылком, тем местом, где волосы встают дыбом без причины. Кто-то смотрел на неё.

Она обернулась.

Он стоял в комнате, не в дверях и не за порогом, а внутри. Дверь была слишком низкой для него, и всё же он вошёл: тихо, без скрипа, пока Лада шла по следам, трогала свечи, пересчитывала их. Вошёл и остался стоять.

Высокий, на голову выше неё, а Лада и сама была не маленькой. Широкоплечий, но не грузный, а будто выточенный из камня. Длинный чёрный плащ с серебряной каймой сидел на нём безупречно, подчёркивая прямую спину и узкую талию. Кожа бледная, почти снежная, но не болезненная, а чистая и ровная, какая бывает у человека, никогда не видевшего солнца. Чёрные волосы, чуть длинноватые, неровными прядями падали на лоб, а на концах серебрился тонкий иней. Губы суховатые, синеватые, обветренные морозом. Острые скулы, чёткий подбородок. А глаза синие: не яркие, не кри-

чащие, а глубокие, как лёд на реке, под которым темно и страшно, но оторвать взгляд невозможно. В них было то, от чего у Лады перехватило дыхание: не злость и не холод, а что-то старое, усталое. Так смотрит человек, который видел слишком много и давно разучился удивляться. Красивый. Неправильно красивый, как бывает красива гроза или зимняя буря: страшно и притягательно одновременно.

Воздух вокруг стал чужим, застывшим, колючим, и каждый вдох резал лёгкие льдом. Он смотрел на неё, и она поняла, что знает его. Не помнит откуда, но знает, как знают родной голос сквозь сон, как узнают лицо, которое видели тысячу раз и не могут вспомнить где.

Это он. Из сна. Тот, кто меня убил.

Она отступила на шаг, на другой и спиной упёрлась в стену, холодную, как лёд. Полено выставила перед собой, как копьё.

— Ты, — сказал он низким, глухим голосом, будто идущим из-под земли. — Ты.

Он замолчал, то ли не находя слов, то ли понимая, что слова не нужны.

— Не подходи, — сказала Лада. Голос у неё сорвался, но полено держалось твёрдо. — Я не шучу. Я ударю.

Он опустил взгляд на полено. Что-то дрогнуло в уголке его рта, и было непонятно, улыбка это или боль.

— Ты всегда начинаешь с чего-нибудь тяжёлого, — сказал он. — В прошлый раз была сковорода.

— В какой ещё прошлый раз?

Он не ответил, только смотрел на неё взглядом человека, который потерял что-то бесценное и вдруг нашёл: не то чудо, не то приговор.

— Кто ты? — спросила она.

— Я ждал тебя. Ждал, когда ты меня разбудишь.

Он протянул к ней руку, медленно, осторожно, как протягивают её к испуганному зверю.

— Иди сюда.

Лада не шевельнулась. Ноги приросли к полу, спина к стене, а может, к чему-то ещё, что держало её крепче дерева и камня.

— Я не знаю тебя, — сказала она.

Он улыбнулся, горько и криво, как улыбаются, когда терять уже нечего.

— Знаешь, — сказал он. — Просто забыла. Ты всегда забываешь.

Он сделал ещё шаг. Опустил руку, словно она боялась ее, а не его. Полено в её руках вдруг стало лёгким и бесполезным, как соломинка.

— Пойдём. Пока не поздно.

— Куда?

— Туда, где кончается весна.

Лада посмотрела на его синие глаза, на протянутую руку, на снег, падавший за окном. Уронила полено. И, сама не понимая почему, шагнула к нему.

Конец первой главы.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.